

Михаил Шишкин

Гул затих...

Много лет назад я всё знал.

Я ничего ещё тогда не написал, но знал про себя, что – писатель. Вернее, писал много, но ничего не получалось довести до конца. Я уже вроде бы существовал, ходил в школу, ездил на метро, ел, пил, но ещё не стал настоящим. Существование необходимо доказать, поставив в тексте последнюю точку.

Мне была открыта сокровенная тайна мироздания. Всё сущее состоит из атомов и прочей невидимой дряни, которую никто не видел и не щупал, каких-то там элементарных частиц. Но они-то, в свою очередь, состоят из букв.

Я знал, что будет потоп. Обещали ведь, что не будет, но наврали. Обязательно придёт. Каждому – по потопу. И нужно спастись. Сколотить свою лодчонку. Написать свою книгу. Найти нужные слова, которые переживут сорок дней разверзшихся хлябей небесных.

Мы жили на Щёлковской, в хрущёбе на 13-й Парковой, на последнем, пятом этаже, и поверх деревьев из окна виднелось здание местной школы, с четырьмя медальонами на фронтоне – писательские головы в профиль. Они тоже всё знали и всю жизнь строили каждый свой ковчег. Что там осталось от их эпох? Брички? Кринолины? Примусы? Соседи? Прохожие? Любимые? Пшик. Их книги и стали теми эпохами.

Всё дело было в том, – знал я, – чтобы написать правильные слова. Вот ученики встретили Его на пути в Эммаус и не узнали. Не поверили. Ведь в гроб сошел. И ещё никто никогда не воскресал. А Он им: Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это – Я Сам. Осяжите меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. И ещё спросил: есть ли у вас здесь какая пицца? Они подали ему, что ели сами, печёную рыбу. И взяв, ел пред ними.

Всё дело в печёной рыбе. Рыба-то настоящая. Мёртвые рыбу не едят.

Я в гроб сойду. На третий день восстану.

Сам текст «Живаго» после Бунина и Набокова казался какой-то расплывшейся словесной тушей, но стихи из романа я знал наизусть. Они меня спасали. Чаще в переносном смысле, но иногда в прямом.

Я учился на Арбате и ездил каждый день по часу туда и обратно. От нас до Щёлковской можно было подъехать пару остановок на автобусе. Там ходили 52-й, 68-й, лучше, конечно, на 516-м, тот промахивал 11-ю Парковую экспрессом.

Помню, возвращался зимой из школы, выхожу из метро, страшный мороз, темно уже, автобусов нет, толпа огромная собралась, все топчутся, мёрзнут, ругаются. Я пообедать не успел, а тут запах от горячих беляшей ноздри дерёт – бабка в валенках продает беляши из огромного парного чана. Купил два беляша, сжевал, в животе сразу резь. Ноги задубели, пальцы от

мороза ноют, нос вот-вот отвалится. Автобусов всё нет. Люди, матерясь, идут пешком. Потоптался и тоже поковылял.

Плетусь в морозной темноте с режью в желудке и спасаю себя волшебными строчками:

И, как сплавляют по реке плоты,
Ко Мне на суд, как баржи каравана,
Столетия поплывут из темноты.

И я тогда знал, что это Пастернак сказал про себя. Это он сошёл в гроб, а потом восстал. Мы же ездили к нему в Переделкино на кладбище, и я знал, что там, под камнем, его не было. Вот рядом кладбище старых большевиков – там все шеренгами лежали на месте, где положили. А Пастернак там быть просто не мог, потому что он шёл со мной по пути со Щёлковской на 13-ю. Мимо один за другим проносились пропавшие автобусы, наверно делали крюк через Эммаус. А он шагал со мной. В могиле его быть не могло, потому что он был во всём вокруг меня. Он был всем – паром изо рта, и полупустым 516-м, и съеденным беляшом, и режью в кишках, и задубевшими ботинками, и ледяными раскатанными на тротуаре дорожками, и матом, и звёздами, и продрогшими пятиэтажками, и каждым, кто в них ютился.

Я знал, что это к нему на суд поплывут столетия, как плоты.

Знал, что и я поплыву когда-нибудь к нему на суд.

Тогда я всё это знал.

А теперь пишу эти строки, за окном дождь, бесконечный, вот уже сорок дней никак не остановится, – и не знаю.

За стеклом в накрапах – игрушки разбросаны на мокрой траве. В алой пластмассовой песочнице потоп для человечков из лего. Розы положили свои тяжёлые головы друг другу на спину, как лошади.

Может, я растерял то сокровенное знание по дороге?

Ведь я знал всё, кроме времени. Да и не мог знать. Просто его ещё не было. Было только будущее и не очень настоящее настоящее, походившее на затянувшееся предисловие.

Время – это когда ты смотришь в зеркало и удивляешься: откуда эта чужая седина? Откуда эта чужая морщинистая кожа?

И все ещё тянутся те три дня до воскресения. И никакого Эммауса.

А в ту соседнюю школу с классиками на фронте мне пришлось походить.

Мама была директором в нашей 59-й на Арбате, и она меня выгнала. Последней каплей был субботник. Я ушел с ленинского коммунистического субботника и увёл с собой половину класса. Так что доучивался по месту жительства.

В новой школе было великое преимущество – вставать не нужно было рано. Из дома выходил за пять минут до звонка. Правда, это оказалось единственным и последним преимуществом.

По литературе проходили Толстого. Чуть ли не на первом же уроке – классное сочинение по «Войне и миру». Все открывают учебники и

списывают. У нас это было бы немислимым. С другой стороны, хоть перестали плевать друг в друга мокрыми катышами через трубочки из-под шариковых ручек.

Почти всем моим новым однокашникам литераторша поставила пятерки, мне единственному досталась тройка. На вопрос умника «а почему?», получил ответ:

– Отсебятина.

Отсебятина! Кажется, впервые тогда почувствовал, что критика может быть наградой.

– Но Толстой ведь тоже – отсебятина.

Как она оскорбилась за Льва Николаевича, и за «Войну и мир», и за всю русскую литературу!

Какое чудесное слово – отсебятина! Спасибо тебе, русский язык!